



VI Международная Богословская конференция
Русской Православной Церкви

Жизнь во Христе: христианская нравственность,
аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи

О. А. Седакова

ВОПРОС О ЧЕЛОВЕКЕ В СОВРЕМЕННОЙ СЕКУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЕ

Что есть человек, что Ты помнишь его?

Пс.8,5

На протяжении десятилетий, а также в последнее время и до сего дня часто звучат слова о продолжающейся и нарастающей секуляризации в исторически христианских обществах. Характерно, что эти слова звучат как в религиозной среде, так и в среде вполне секулярной (в том числе и в среде социологов и других обществоведов). И долгое время казалось, что речь идет просто об «истине факта»: нравится кому-то эта секуляризация или, наоборот, не нравится, но вот так обстоят дела, таковы объективные исторические процессы.

Есть старинная китайская легенда: когда Император хотел узнать, как обстоят дела в Поднебесной, он приглашал музыкантов и просил исполнить перед ним песни, которые в это время чаще всего звучат в его стране. По тону, мелодии и гармонии этой музыки он составлял себе ясное представление о том, что происходит в государстве и чего, следовательно, можно ожидать в ближайшем будущем. В этой процедуре нет ничего от гадания или других видов магии. Больше всего она похожа на медицинскую экспертизу. Музыка (и искусство вообще) кроме всего другого, чем они заняты, - весьма точный диагностический прибор, своего рода датчик, который пишет кардиограмму эпохи. Вопрос в том, как читать запись.

Если мы попробуем применить этот древний метод диагностики, мы сразу же натолкнемся на препятствия, которых в до-пост-модернистском обществе не знали. Прежде всего, наша современность, в отличие от традиционных культур, как будто не обладает устойчивым и общим для всех символическим языком формы, когда та или иная тональность, та или иная гамма цветов, характер линии что-то определенно значат, что-то выражают (о. Павел Флоренский замышлял собрать и описать минимальные общечеловеческие символы этого рода в своем Symbolarium'e). Во всяком случае, современное («актуальное») искусство настаивает на том, что никакого универсального символизма вообще не существует, все символические системы условны, навязаны нам («репрессивны») и потому подлежат «деконструкции». Всякая попытка читать искусство в «медицинском» (т.е. этическом, оценочном) свете выглядит в нашей просвещенной современности совершенно недопустимой. И неслучайно! Опыт XX века с его судами над «патологическим искусством» в Германии или «сумбуром вместо музыки» в Советском Союзе научил быть осторожнее. Во избежание недоразумений отмечу, что я веду речь совсем не о том, чтобы судить искусство, массовое или экспериментальное – но чтобы выслушать его сообщение, прочесть эту кардиограмму нашей современности. Что поют в нашей Поднебесной.

Представив на миг некоторую сумму того, что теперь поют, играют, показывают, всего того, что больше всего бьет в глаза и лезет в уши, нельзя не признаться - хотя бы себе, если не другим: дело плохо. Почему люди этого хотят? Чего они в этом хотят? Почему они так несчастны, чтобы этого хотеть? Один из последних классических философов Европы, наследник Витгенштейна, выслушав очередной актуальный опус (в тот раз это была воистину садистская минималистская оратория), заметил: «Интересное, однако, общество, которое в форме искусства производит исключительно сатиру на себя!» Сатира, пародия, гротеск, изувеченная и оглушенная до предела копия-ремейк... Образы всеобщего распада и крушения, тотального слабоумия, какие-то кошмарные мутные сны, которые при этом давно перестали пугать и стали предметом коммерции. Почему это востребовано? Травма – один из центральных моментов этого искусства: переживание травмы как его главная тема, нанесение травмы как его форма: травмы слуху, зрению, уму, всем «привычным понятиям» читателя-слушателя-зрителя. Художник и его зритель как будто ничего и не видели в этом мире кроме травмы, которая, по мнению психологов, стоит в самом начале жизненного опыта человека: его «ранние травмы» определяют всю его последующую жизнь. Психологи и социологи, как известно, - наши авгуры, главные интерпретаторы современности; все другие гуманитарные области спланировали на плоскость психологии и социологии: там последнее, «объективное» объяснение всему. «Вначале были руины», так выразил это настроение один из самых авторитетных голосов современности, Ж.Деррида. Если на секунду вдуматься в это высказывание, оно (как и большая часть популярных *mot*) совсем не реалистично - просто потому, что с руин ничего не начинается; «в начале» должно было быть нечто, затем пришедшее в упадок, в состояние руин. Так же, как ранним травмам должен был бы предшествовать некий еще нетравмированный субъект: нельзя же травмировать то, чего нет. Подобным образом дело обстоит и с «падшестью», о которой охотно говорят. Прежде, чем упасть, нужно еще было побывать где-то, откуда затем предстояло падать. Но именно так теперь помнит человек: начиная с травмы, начиная с руин. Так он помнит и себя, и мир. Начала он не помнит. Вероятно, никогда еще о начале не забывали так крепко. Вот об этом, я думаю, и сообщают песни, которые теперь поют в нашей Поднебесной. Конца, заметим, они тоже не помнят. Где неизвестно настоящее начало, там неизвестен и конец. Конечность человека, его смертность – популярные темы современных рассуждений: но странна эта конечность, никак не сопоставленная с бесконечностью, и эта смертность, не сопоставленная со смертью и бессмертием!

Вместе с Началом из области человеческого опыта исчезает все то, что непосредственно происходит из Начала: внимание, глубина, сосредоточенность, благодарность, изумление, милость, хвала, почтение, вдохновение, дар, надежда на то, что представляется невозможным, доверие, высокая печаль... Всего, о чем всегда говорило искусство – и чего искать в песнях нашего времени (я продолжаю говорить о самых «типично современных») просто нелепо. В этом пространстве вне начала и вне конца («мы живем после конца», говорят они, но такого в области жизни просто не бывает: вся она - перед концом!) для всего названного и для многого еще просто нет места. Это пространство вне начала и конца, вне гибели и спасения, вне смысла и бессмыслицы, пространство анти-эсхатологическое и анти-аскетическое называется обыденностью. Современный человек погружен в обыденность как никогда прежде. Она герметично закупорена: все другое, чем она, представляется невозможным. О невозможном нечего и говорить, и надеяться на него глупо.

Говоря об антропологии современного секулярного (теперь уже говорят: постсекулярного) общества, я имею в виду прежде всего европейский мир – но не

затем, чтобы противопоставить его российскому: во всяком случае, в том, что поют, два эти мира не слишком отличаются. Мы принадлежим одному, планетарному историческому моменту. Разве только то, что в западном контексте давно стало рутиной публичной художественной жизни, в российском контексте еще часто воспринимается как скандальный вызов. Но это не ребяческое подражание Западу, а воздух эпохи, который достиг наших пространств с некоторым запозданием. Другой поток этого воздуха – гуманистическая социальность – нас еще не достиг. И говоря о современном обществе и его «кардиограмме» - искусстве, нельзя не удивиться их, по видимости, поразительному контрасту. Социальная жизнь современного общества, которое называют терапевтическим или пермессивным, гуманна, как никогда. Достоинство человека – отдельного человека, независимо от его сословных, этнических, гендерных и т.п. признаков – никогда еще не было так уважаемо. Сама по себе эта идея достоинства человека, dignitas, главный лозунг гуманизма, начавшего Новое Время, имеет безусловно христианское происхождение. Ни одна другая традиция не поставила на вершине всех ценностей одну человеческую душу, ее гибель или спасение. Христианство здесь продолжило и усилило ветхозаветную интуицию в каком-то смысле «нечеловеческого» достоинства человека, о котором с изумлением спрашивают стихи Псалмов, среди них и тот, который мы взяли эпитафией. Без такого утверждения человека классическому гуманизму было бы просто не на что опереться, не с чего начать.

В наши дни предпочитают говорить не столько о «достоинстве», сколько о «правах» человека, но смысл этих «прав», в сущности, тот же: защита достоинства отдельного человека перед лицом безличных инстанций. За окончательное утверждение этих прав как необсуждаемой и всеобщей, уже формальной нормы заплачено катастрофическим опытом тоталитаризма XX века, который институционно отменил ценность отдельного человека и его жизни. Вопрос о человеке в тоталитарном мире и у его устроителей звучал бы прямо противоположно псалмическому: «Что такое человек, чтобы думать о нем, - в сравнении с нашими планами, целями, идеями, с «исторической необходимостью», со светлым будущим пролетариата или торжеством арийской расы?» Что такое в сравнении с этим отдельный человек – или тысячи и тысячи таких отдельных людей? Есть вещи поважнее. И все почти вещи поважнее человека. Не только такие отдаленные предметы, как светлое будущее или единственно верное учение – но что такое отдельный человек рядом с необходимостью построить вот эту железную дорогу в самый краткий срок?

В том, какие уроки извлечены из этого опыта, российский мир и мир западноевропейский пока далеко расходятся. Мы живем, необходимо это признать, в обществе, не пересмотревшем и не изжившем той цинической жестокости, которая внушалась людям из поколения в поколение (достаточно вспомнить, что слово «беспощадный» употреблялось – и теперь еще употребляется у нас - как положительное: «будем вести беспощадную борьбу»). В беспощадности, в «святой жестокости» к недобитому врагу виделось нечто высокое, героическое и даже трагическое. Это называлось «социалистический гуманизм».

Западный мир ответил на свой катастрофический опыт раскаянием в образе «нового гуманизма»: его выражения - и поставленные на вершине общих ценностей «права человека», и общий «терапевтический», «пермессивный» (позволяющий) характер современного общества, о котором я уже упоминала. «Мы больше никогда и ни о ком не можем решить: это не человек». Так можно выразить урок, извлеченный европейской культурой из лагерей массового истребления, из авантюры «сверхчеловека». И никто не может сказать, что это противоречит евангельской проповеди: может быть, после всех столетий христианской цивилизации в этом отношении его впервые всерьез услышали, слово о великой

ценности убогого. Но что дальше? А дальше, увы... Ради того, чтобы в дальнейшем никого не судить, чтобы сохранить человеческое достоинство за больным, уродливым, безумным, порочным, бесталанным, невежественным существом, следует отказаться от наших старых представлений здоровья, красоты, разумности, добродетели, таланта, образованности. Все это репрессивные нормы. Отказаться от больших идей, и замыслов, потому что за ними следуют большие бойни; от религий, поскольку они порождают фанатизм, который делит всех на «своих» и «чужих» и т.п., и т.п. От всего, что несет в себе силу, – потому что сила и насилие больше не различаются. Плохо различаются вера и фанатизм, уверенность суждения и доктринерство. Ниже, ниже, ниже – туда, где почти ничего не осталось. Это антропология нового гуманизма. «Что такое человек? Это существо травмированное, ранимое, бедное, больное, опустошенное своей долгой историей. Ничего хорошего в нем нет: он и сам может превратиться в палача. И такое существо необходимо хранить. И не требовать от него по возможности ничего чрезвычайного». Образ человека, прекрасного, как космос, почти всемогущего, свободного и деятельного, обладающего неограниченной способностью к познанию, – образ, вдохновлявший первый, классический гуманизм – сменился в новом гуманизме на противоположный. Достоинство человека просто в том, что он – какой-никакой – есть, достоинство живого просто в том, что он жив. И такого помнит Господь – добавим мы. Но новый гуманизм этого не добавляет. Его идею выразил влиятельнейший французский философ Андре Глюксман в своей «Одиннадцатой заповеди»: «Помни, что тебе присуще зло!» Прекрасно, и этому веками учила монашеская педагогика. Есть еще одна вещь, которую забыли еще крепче и, может быть, стоит о ней сказать: «Помни, что тебе присуще нечто благое».

Этот своеобразный кенотизм – самая поэтическая и серьезная часть нового гуманизма. Из нее может возникнуть – и порой возникает новая мысль, новое искусство, искусство бедное, тихое, почти беззвучное, почти бесцветное. Его еще не слышно за грохотом и ревом времени. В этой бедности рождается новая интенсивность.

А то, что слышно везде и о чем мы вели речь, – искусство обыденности, которую я назвала реальностью анти-эсхатологической и анти-аскетической. Анти-эсхатологической – поскольку она хочет существовать «просто так», начиная не с начала и кончая не концом, не спрашивая о смысле и бессмыслице, в мире «необходимого» и «развлечений» Анти-аскетической – имея в виду аскезу не как некоторую систему самоограничений и отказов, то есть обыкновенную абстиненцию, с которой ее часто путают, но как открытую, динамическую реальность, как человеческую волю к другому, к тому, что, если исходить из данности, представляется совершенно невозможным и абсурдным: к тому, что поэт назвал «усильем воскресенья».

Смерть можно будет побороть

Усильем воскресенья.

Эта воля пробуждает от мутного сна обыденности, как о том рассказывает древняя сирийская «Песнь о жемчужине», переведенная С.Аверинцевым. Царский сын, забывший на чужбине (в Египте, то есть в рабстве) и свой род, и свое задание (отнять у Змея и принести Отцу таинственную жемчужину), получает спасительное послание из дома:

Как начертано было в сердце моем,

Так и были начертаны слова письма.

Я вспомнил, что царский я сын,
Что свобода моя взыскует сродного ей,
Вспомнил и о жемчужине оной,
Коей ради пришел я в Египет...

Современный человек вспомнил о том, что он нищий и никчемный, что он бессильный раб: об этом забывал классический гуманизм, забывало Просвещение. Но эта память не будет окончательно правдивой, если она не дойдет до конца, то есть до начала:

Я вспомнил, что царский я сын.

Если он не вспомнит, что он – тот, кого помнят: чему не перестает изумляться Псалмопевец.